
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Источник: Виноградов И. Оптимистическая трагедия Родьки Гуляева / И. Виноградов // Новый мир. — 1958. — № 9. — С. 247-255.

И. ВИНОГРАДОВ

★

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ РОДЬКИ ГУЛЯЕВА

Говорят, критика не делает писателей и не убивает их. Но зато она их классифицирует. Писатели и в самом деле бывают разные. И поэтому критики охотно подразделяют их на лириков и бытописателей, на «представителей» семейно-бытовой темы и «представителей» темы производственной. Эта тематическая классификация, над которой немало пронизировали, в последнее время все настойчивее вытесняется классификацией проблемной. И вот уже писателей делят на тех, что «без острой общественной проблематики», и на тех, что «с острой общественной проблематикой».

На самом деле такого деления не существует. Нет искусства проблемного и искусства непроблемного. Есть только одно искусство — то, которое имеет право называться искусством, и оно всегда проблемно, не может быть иным по самому своему существу. Но так или иначе, а поворот от критики тематической к критике проблемной уже совершился. И если говорить о Тендрякове, то в критических описях последних лет он прочно занял место среди «остро-проблемных» писателей.

Однако и к проблемам, а следовательно, и к общественной значимости произведения можно подходить по-разному. В дни одного из московских театральных фестивалей областной театр показал пьесу из сельской жизни, в которой изображалась борьба передовых колхозников за увеличение надоев молока. Пьеса — беспомощная в художественном отношении — вызвала дружную критику со стороны членов жюри. Тогда один из представителей области, отстаивая значение спектакля, веско

заметил: «Все это так. Но вы забываете, что нам надо повышать надон».

Можно, конечно, рассматривать творчество Тендрякова и с этой точки зрения, стнюдь не лишенной здравого смысла. Можно, скажем, утверждать, что необходимость борьбы с бюрократизмом, наглядно демонстрируемая рассказом «Ухабы», критика порочных методов руководства и недостатков в деле подбора кадров («Тугой узел»), постановка вопроса о необходимости изменения порядка планирования в сельском хозяйстве («Ненастье») и т. д. — все это и злободневно, и общественно значимо, и остро. А главное — все это действительно вытекает из указанных произведений.

Тендрякова дружно хвалят. Но ведь за остроту и злободневность проблематики нередко хвалят и явно иллюстративные сочинения. Между тем тут есть принципиальное различие, и оно не сводится лишь к качеству выполнения, к чисто формальному несходству, как иногда об этом думают.

Обычно говорят: «Вот посмотрите: идейное содержание и того и другого произведения интересно, значительно, остро, богато, но как великолепно выражено оно в одном случае и как невыразительно, бледно — в другом!» Однако так не бывает. Художественная неполноценность произведения есть и его идейная неполноценность.

Когда впечатления жизни образами ложатся в душу художника, когда художник воссоздает в своем произведении неповторимую и быстро изменяющуюся картину общества, «самый образ и давление времени», как любил говорить Тургенев, — это одно. Когда же образная форма нужна сочинителю только для того, чтобы проил-

люстрировать какую-то мысль, — это совсем другое. «Подчиниться заданной теме или проводить программу могут только те, которые другого, лучшего не умеют», — не без основания утверждал тот же Тургенев. Сюжет и герои подобных произведений — просто один из способов для передачи тех умозаключений, которыми захотел поделиться с нами писатель. Образная форма появляется здесь совсем не потому, что она призвана передать наблюдения писателя, запечатлеть художественную правду. По отношению к такого рода произведениям можно говорить только о том, хороши или не хороши мысли писателя, почему они хороши или не хороши, но совсем, конечно, не об образах. Они не играют тут существенной роли.

С другой стороны, по отношению к таким произведениям нет ничего легче, как «раскрыть» их идейное содержимое. Для этого его нужно просто освободить от посторонней образной примеси, и мораль произведения — налицо. То, что это будет именно «мораль» — в смысле отдельного правила для всеобщего употребления, — можно не сомневаться, поскольку конкретное и многостороннее осознание жизни присутствует в произведении только тогда, когда в нем есть художественные образы, а тут перед нами лишь подобие, внешняя форма образа, но не образ.

Из истинно художественного произведения тоже можно выжать своего рода экстракт, некий общий вывод, который вытекает из показанных писателем человеческих судеб и отношений. Как мы уже говорили, подойти с этой точки зрения к Тендрякову и посмотреть, что дает его творчество в плане «увеличения надоев молока», более чем легко. Но полагать, что этим мы исчерпаем хотя бы основной идейный смысл его произведений, было бы ошибкой.

Тендряков — прежде всего художник. Плоть и кровь его произведений — это люди, живые люди нашего времени, это тот «самый образ и давление времени», о котором говорил Тургенев. Саша Комелев, Игнат Гмызин, Павел Мансуров, Княжев, Вася Дергачев, лейтенант и председатель сельсовета из «Ухабов» — все это подлинные типы подлинной действительности, сама жизнь столкнула их на страницах рассказов и повестей Тендрякова.

И, как у всякого настоящего художника, именно это богатство высмотренных у жизни характерных черт и насыщает его

произведения проблемностью острой и захватывающей.

Если в иллюстративном произведении люди появляются для того, чтобы «выразить» проблемы, то в художественном создании проблемы возникают потому, что там живые люди. Оттого, в частности, и значение творчества таких писателей, как Тендряков, для нас, людей своего времени, во много раз выше, чем значение всех вместе взятых иллюстративных произведений с самыми модными, острými и злободневными проблемами.

Судить о достоинстве литературного произведения можно только по жизни. Но для этого нужно прежде всего посмотреть, какие суждения о жизни позволяет сделать литературное произведение.

История, рассказанная в новой повести Тендрякова «Чудотворная», и безыскусна, и трогательна, и драматична.

Родька Гуляев, двенадцатилетний деревенский парнишка из села Гумнищи, нашел икону. Ту самую «чудотворную», ради которой была когда-то воздвигнута на болоте около Гумниц церковь Николы-на-Мостах. В двадцать девятом году церковь как «пережиток старого» закрыли, а икону собирались уже переслать в местный краеведческий музей, но она неожиданно исчезла. И вот теперь, через много лет, ее случайно обнаружил Родька. С этого и начались его злоключения.

Когда Родька вытащил из полусгнившего ящика, откопанного на берегу реки, темную гладкую доску, с которой угрюмо и нелюбимо глядели куда-то мимо него два белых глазных яблока, он был даже разочарован. Невелик клад. Такого добра у бабки целый угол. И домой-то он притащил ее только потому, что находка есть находка, какая бы она ни была, ею стоит похвастаться. Но мать и старая бабка Грачиха отнеслись к иконе неожиданно серьезно. А вечером, когда Родька вернулся домой, его уже ждали. Тут была и бабка Домна, и бабка Дарья, и бабка Секлетей, и согнутая пополам старая Жеребиха, и опухшая Агния Ручкина, и робкий старичишка — ночной сторож Степа Казачок.

«— Ангел ты наш, сокол ясный!.. Знает господь, кого благодатью-то своей отличить. Истинно ангел..»

— Избранник божий, надежда наша..

— Голубинная душенька подвернулась, некорыстная..

— Сам господь, должно; перстом указал..

— Господня воля на то. В або какие ру-ки чудотворная икона не попадет...»

Так, не думая не гадая, попал Родька в избранники божьи, в праведного отрока, коему сам господь пожелал явить исчезающую икону. Последствия сказались уже утром: бабка и мать потребовали, чтобы Родька надел крест. И как ни скандалил Родька, как ни богохульствовал, старшие сумели настоять на своем, употребив во имя господя старый солдатский ремень, оставшийся от Родькиного отца. Под пионерским галстуком повис на груди на толстой шелковой нитке маленький медный крестик.

И все-таки поначалу Родьке казалось, что все утрясется. День, другой — и все пойдет опять так, как шло прежде. Пусть дома на икону не наглядятся, наплевать на это. Он, Родька, как-нибудь перетерпит, будет меньше дома бывать, да и терпеть-то, наверно, придется не век.

Но обернулось иначе. Мальчишки-приятели увидели крест. Куда теперь податься Родьке, когда весь его мир — это дом, улица и школа? Дома противно. Бабка теперь куска хлеба не даст, если не перекрестишь лба. На улице тоже не показывайся. Венька Лупцов с Пашкой и Васькой уже, верно, разнесли по селу, что он, Родька Гуляев, как какая-нибудь старуха, носит на шее крест. Попробуй только показаться — проходу не дадут, засмеют. А школа?.. Ведь и в школе все будет известно!

Но самое страшное даже не в этом. Самое страшное то, что творится в самом Родьке. Раньше он никогда за всю жизнь серьезно не думал о боге. В школе учительница Парасковья Петровна говорила: бога нет. Он верил в это и не задумывался. Бог для него был связан с бабушкиной воркотней, со слезами матери, с чем-то скучным, неинтересным, не дававшим пищи для размышлений. Но теперь его жизнь невольно заполнена богом. О нем нельзя не думать. Дома, где каждый вечер теперь собираются бабкины гости, только и разговоров что о боге. Из Загарья приехал поп, отец Дмитрий, служить молебен перед ново-явленной иконой. Старая Жеребиха пугает разными историями о том, как господь наказывает отступников от веры, безбожников... И Родька слушает, смутные сомнения начинают приходиться ему в голову: «Тыжи лет люди в бога верили. Не все же тогда были дураки. В школе про Льва Толстого рассказывали: бога искал. Раз

искал, значит верил... Бабка верит, а Парасковья Петровна нет... Парасковья Петровна умнее бабки. Ну, а Лев Толстой, он книжки писал, он и Парасковья Петровна умней был...»

А тут еще Жеребиха твердит про «пиление» в церкви. Родька и раньше слышал, что в заброшенной церкви, с тех пор как пропала из нее икона, каждую ночь, минута в минуту, словно кто-то пилит купол. Врут, конечно... А если нет? Раньше-то выслушивал эту сказку и забывал, а теперь вот запало в голову, не выбьешь... И для Родьки, весь смысл жизни которого теперь заключается в вопросе, есть ли бог или нет его, остается один выход: проверить самому. Если про церковь не врут, значит и про бога тоже... Отчаянный, из последних мальчишеских сил поход в ночную жуткую темь, в пустую, заброшенную церковь... Кошмарный, чудовищный, выматывающий душу звук под куполом... И вот Родька, без памяти примчавшийся домой, вечно бунтующий, упрямый, только изпод палки поднимавший ко лбу руку, Родька со всхлипом вытирает лицо рукавом, встает коленями на пол и, упершись заплаканными глазами в лампадку, слабым голосом произносит единственную молитву, которую знает, короткую, в два слова:

— Прости... господи.

Он крестится, и лицо его выражает просительный страх.

История с пилением в церкви, впрочем, скоро объясняется. Парасковья Петровна растолковывает Родьке, что здесь просто обычное явление резонанса, о котором Родька должен знать из физики, — рядом с церковью железная дорога, по которой каждую ночь, в определенное время, проходит пассажирский поезд.

Но дома — прежнее. И Родька, для которого все зло сосредоточилось теперь в злополучной иконе, решается разрубить ненавистную доску топором. Следует дикий скандал, бабка зверски избивает Родьку — обломком все той же иконы, ребром, по голове. Вконец изведенный парнишка бросается в реку.

Впрочем, опять-таки все кончается благополучно. Родьку спасают; Парасковья Петровна, с самого начала решительно вмешавшаяся в эту историю, добивается от Варвары, матери Родьки, согласия на то, чтобы отделиться от бабки и не уродовать жизнь сына обращением его в веру. Да

Варвара и сама начинает понимать, что Родьке с богом не по пути...

Рассказана эта история живописно.

«Мать и бабка были за домом, возлились на усадьбе. Бабка, со сбившимся на голове платком, с сердитым лицом, вцепившись жилистыми руками в ручки плуга, пахала. Родькину бабку звали по селу «Грачнхой». Ей давно перевалило за шестьдесят, но всю мужскую работу по дому делала только она... Бабка сама возила из лесу дрова, сама косила, сама таскала на поветь сено, сама пахала. Родькину мать, свою дочь, тоже не жалующуюся на здоровье, звала «жидкой плотью», постоянно ворчала: «Умру, похороните — расплзется дом, как прелый гриб». Высокая, костистая, поглядеть спереди — широка, словно дверь, сбоку — плоская, как доска; лицо тоже широкое, угловатое, с мослаковатыми крутыми скулами; над ними в сухой смятости перевитых коричневых морщин и морщинок неспокойно и цепко глядят желтые глаза. Сейчас бабка навалилась на плуг, неуклюже переступает огромными сапожниками по пахоте, покрикивает на лошадей:

— Н-но! Наказание господне! Шевелись, недоделанная! Обмою хребтину-то!»

И люди, как всегда у Тендрякова, — живые люди, которых видишь и слышишь: бабка Грачнха, Варвара — мать Родьки, отец Дмитрий, даже эпизодические образы мальчишек — приятелей Родьки. И Киндя, этот с гневом и болью вылепленный образ, Киנדя тоже эпизодическое лицо. Безногий калека, который бахвалится и пользуется своей инвалидностью... «Для меня ныне законов нету! Могу украсть, могу ограбить — не засадят. Я человек неполноценный! Раздолье мне! Эй, вы! Кого убить? Кому пустить кровушку?» Он буйнит, пьянствует, способен на все самое худшее. Это он в беспамятстве бросает свой тяжелый утюжок-подпорку в Парасковью Петровну, учительницу Родьки, когда она пришла за Родей, чтобы увести его от Кинди, от Секлетен, от Жеребики.

«Парасковья Петровна резко обернулась. В ее широко, грубоватом лице с плотно сжатым ртом появилось гневное, по-мужски жесткое выражение. Но к ней, опираясь руками о землю, полз, выставив тяжелую голову, силпло выкрикивая грязные ругательства, калека, бешеный, невменяемый и жалкий. И гнев исчез с лица Парасковьи Петровны, только на щеках под глазами проступил неяркий румянец. Она повернулась

и, ни на кого не глядя, своим широким, тяжелым шагом пошла прочь». Такая жестокая и человеческая правда о больном и сложном явлении жизни доступна только настоящему художнику.

Но главное в повести — это, конечно, Родька. Особая трудность заключалась в том, чтобы достоверно изобразить внутренний мир подростка. Как легко и просто можно было бы впасть здесь в ложное сюсюканье или приписать мальчику несвойственные детям переживания, мысли, чувства, особенно в той сложной ситуации, в какой оказался Родька. И ни одной фальшивой ноты на протяжении всей повести! Все, все — и лихорадочное нетерпение, и сладкий ужас перед неизвестностью, от которого дрожат руки и захватывает дух, когда Родька срывает доски с закопанного ящика, думая найти там клад, и по-мальчишески забавные, но серьезные размышления о боге, и поход ночью в заброшенную церковь, когда за каждым кустом чудится что-то живое и страшное и от страха готов верить во все: в нечистую силу, в мертвецов, что поднимаются из могил, в бога — великого и страшного, глядящего сейчас откуда-то с черного неба, — все это выписано точно.

Описывая происходящее как бы через восприятие Родьки, Тендряков тем не менее стремится сохранить свободу сложной авторской интонации. Справедливости ради надо заметить, что эта авторская интонация, голос писателя как бы ступеньваются, замирают в иных местах повести, особенно в сценах, где выступают Парасковья Петровна, Кучин, — и об этом стоит пожалеть! Что же касается Родьки, то тут в основном соблюдена художественная мера изображения маленького героя и отношения к нему автора.

Родька и не подозревает, что его судьба становится предметом большого и принципиального спора — спора, который выходит далеко за рамки злосчастной истории с чудотворной иконой. Ведут спор Парасковья Петровна, учительница Родьки, тридцать лет отдавшая гумнищенским ребятишкам, и поп из Загарья, отец Дмитрий.

Этот неприметный старичок сложнее и значительнее, чем кажется с первого взгляда. Это не традиционный поник из сельского прихода, греющий руки на церковных подаяниях. За внешностью «сельского интеллигента, учителя или фельдшера, одного из тех, кто от скуки деревенской

жизни начинает оригинальничать — отращивать волосы и бороду, доморощено философствует, скептически отзывается о всяком событии, держится своего рода безобидным нигилистом», скрывается умный и опасный противник. Он умеет приспособиться к новым условиям, обветшалые заветы Христа, наивные легенды о воскрешении, святом духе и райских кушах прекрасно уживаются в его голове с сегодняшним днем, с современными взглядами на жизнь. «Попробуй-ка его копнуть, — думает Парасковья Петровна, — он и за прогресс и за мир во всем мире, с первого же толчка готов, верно, кричать «анафему» зарубежному капиталу. Во всем покорен, со всем согласен...» И портсигар у него не какой-нибудь, а с кремлевской башней на крышке, и икона для него — не просто икона, а и общественная ценность, да и в бога он верит не по старинке, а по-новому, «с оговорками...» С ним-то и пришлось столкнуться Парасковье Петровне, когда она пришла в дом к Родьке Гуляеву, чтобы попытаться как-то воздействовать на родителей и оградить парнишку от родительской выучки. Спор возникает сразу же. Когда Парасковья Петровна заговаривает о том, что родители портят мальчику будущее, что они волей или неволей становятся преступниками перед обществом, отец Дмитрий умело и ловко парирует ее доводы. Преступники? Но ведь закон не устанавливает порядка вероучения внутри семьи, закон мудро предоставляет семье решать вопросы веры без его помощи. «К кому бы вы ни обратились, уважаемая Парасковья Петровна, хоть в суд, хоть в милицию, никто не окажет вам поддержки. Вы преувеличиваете, называя это преступлением». Впрочем, отец Дмитрий не придает особого значения этим формальным доводам. Он прекрасно понимает, что речь идет не о букве закона. «Ведь вам, как я понимаю, не суть важно, силой ли заставили молиться ребенка или убедили его в этом. Вам важнее уберечь своего ученика от веры. Так ведь, Парасковья Петровна?» И он готов сразиться в открытую, у него есть своя философия, своя логика доказательств. Никакой опасности для государства обращение мальчика в веру — да и вообще религия — не представляет. Напротив, отец Дмитрий сам печется об интересах государства, насколько позволяют его слабые силы. Пусть люди пахут землю, строят заводы, рожают детей. Разве этому мешает

то, что они будут жить в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла? И потом, есть же вечная, как мир, истина: добро должно торжествовать над злом. Всякий обязан добиваться этого своими силами. «Вы это делаете по-своему, а я по-своему, как могу... Если именем Христа я могу у людей вызвать добрые чувства, почему это должно считаться позорным? Почему это должно возмущать?»

И вот действительно возникает вопрос: так ли уж опасна религия? Так ли уж серьезно все то, что приключилось с Родькой? И так ли уж невозможно ужиться вере отца Дмитрия с верой Парасковьи Петровны, с нашей верой? Это действительно большой вопрос, и было бы непростительной ошибкой измерять его значение количеством верующих, сводить все дело к выжившим из ума старикам и старухам, к полуобразованности и невежеству. Это вопрос о самой сути, о строе человеческой души, и борьба здесь не прекращается сегодня ни на миг.

О религии сказано и написано очень много. И не удивительно — религия занимает в истории человечества огромное место. Лучшие умы прозревали историческую неизбежность одной из самых грандиозных задач человечества — освобождения людей от пут религиозного мировоззрения, несовместимого с единственно достойным человека научным взглядом на мир. Но религия — это не просто мировоззрение. Это определенный мир чувств, это определенная организация психики человека, склад его души — то, что зовется общественной психологией. Власть преобладающая всегда была тесно связана с религией не только потому, что религия была великолепным средством умственного обмана, одурачивания и оглушения народа. Религия создавала ту психологию рабского терпения и безответности, которую нельзя было создать никакими мерами принуждения. Несомненно, что именно бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами питает веру в лучшую загробную жизнь, что именно слабость спасается верой в чудеса. Но точно так же и вера в лучшую загробную жизнь, в чудеса порождает, в свою очередь, психологию бессилия, слабости, непротivления. История религии — это тысячелетний путь всяческого принижения человека, вытравливания из него лучших черт, достойных свободного, уверенного в себе, разумного

существа. Отцу Дмитрию нечем возразить Парасковье Петровне, когда она бросает ему в лицо это обвинение: «Как там в Библии сказано, если память не изменяет: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бог одевает, бог кормит, бог требует: будьте добрыми — всюду бог. А ведь человек потому и стал человеком, что он всего достиг сам, своим умом, своими руками. Вечным вмешательством бога вы отнимаете у человека право быть хозяином своей жизни».

Родька, маленький Родька, и тот — пусть по-своему, по-мальчишески — чувствует эту гнетущую и злую власть религии, отнимающей у него право распоряжаться своей судьбой. Признание бога, — а как его не признать, если купол взаправду пилят! — для него, мальчишки, с малых лет выросшего в сознании безграничных возможностей и открытых дорог, становится настоящей трагедией. «Привычный мир рухнул для Родьки. Надо было как-то по-новому жить, по-новому поступать».

«У каждого здорового мальчишки смысл жизни заключается в одной фразе: «Когда я вырасту большим...» Два года назад в Гумнищи вернулся с флота теперешний председатель колхоза Иван Макарович. Тельняшкой, мичманкой с золотым крабом, всем своим морским обличем он жестоко поразил Родькино сердце. И после этого Родька мечтал: «Когда вырасту большим, стану моряком». Золотая надпись на ленте, синий воротник за спиной, ремень с медной пряжкой в ладошку — вот он, Родька Гуляев, приехавший домой на побывку!..

Теперь от этого будущего надо отказаться. Где уж там бескозырка с ленточками, когда тебе придется молиться, когда ты нашел святую икону, когда за тобой следит сам бог, ты у него на примете! Неужели жить, как велит бабка? Кем он будет, когда вырастет большим? Непонятно, неясно, темно впереди. С богом и бабкой как-то не мог себе представить Родька будущего.

Нет будущего, значит нет жизни, от всего надо отказаться. Не по приказу бабки, не из-за страха, что она выдаст лупцовку, — самому отказаться!.. Сейчас не перед кем бунтовать, не на что жаловаться, в тебе самом сидит беда. Нет будущего, нет счастья, ничего нег!..»

Свободный и открытый взгляд на мир, естественное и простое отношение ко все-

му вокруг, словом, то несложное чувство вольности и радости жизни, какое, кажется, с рождения свойственно любому советскому мальчишке, должно вдруг смениться для Родьки нерассуждающей и покорной верой бабки, страхом, терпением и приниженностью. Его высшим авторитетом должен стать священник из Загарья.

Отец Дмитрий согласен на все: пусть люди пахут землю, строят заводы, рожают детей. Но пусть они живут в страхе перед богом, великим и справедливым, который не допустит зла. Он «во всем покорен, со всем согласен и только хочет малого: чтоб Родя Гуляев верил во всевышнего, был терпим ко всякому злу, признавал небесные и земные силы». Ему нужно лишь, чтобы человек все доброе, хорошее воспринимал «только из-за страха перед какой-то всемогущей силой, а не потому, что он сам по себе сумеет понять необходимость хорошего и вредность плохого».

И вот здесь-то мировоззрение, опирающееся на религию, и вступает в коренное, непримиримое противоречие с мировоззрением социалистическим. Ведь суть социализма не только в том, что он являет собой принципиально новую экономическую организацию общества, построенную на общественной собственности. Суть его также в том — и это вытекает из его экономических предпосылок, — что он впервые в человеческой истории создает полноценного, человеческого человека. При социализме человек впервые обретает подлинную свободу, человеческое достоинство, право и возможность распоряжаться своей судьбой. Психология этого человека — психология хозяина своей жизни, хозяина своего государства, в решении судеб которого его разум и воля имеют такое же значение и несут такую же ответственность, как разум и воля всех остальных. Распряженный, не испытывающий никакого насилия над своими правами равноправного члена общества, властный над своей жизнью, — этот человек по самой своей психологической структуре является полнейшим антиподом человеку, живущему верой в благость всемогущего, в страхе перед всемогущим, а потому утратившему чувство своей свободы, чувство хозяина своей судьбы. Это два противоположных мира. Вот почему в социалистическом государстве, сила которого в сознательности масс, так важна борьба за полноценного, свободного, распряженного человека. Любая человеческая

потеря здесь — это потеря на главном фронте.

«Я учила Варвару Гуляеву, — говорит Парасковья Петровна, — чтоб она умела во все вникать, обо всем самостоятельно мыслить. Я хотела, чтоб она стала человеком с широким кругозором, с сознательной верой в будущее. А вы, быть может, именно в эти военные годы сумели навязать ей свою веру — слепую веру, при которой не нужно думать, не нужно рассуждать. Мир для нее стал темен и непонятен. Мы победили в войне — зачем ей, Варваре, анализировать, зачем ломать голову над вопросами, отчего да почему, — просто божья благодать. С войны в Гумнищенском колхозе стало труднее жить. Как поправить положение? Опять один ответ: на то божья воля. И так во всем и всюду — умственная слепота. А от слепоты, от неизвестности появляется чисто животный страх перед жизнью. Страх перед божьим гневом, страх перед началом, перед дождем не ко времени, перед кошкой, перебегающей дорогу. А тут вы вдалбливаете: терпи, ибо все от бога, будь покорной. Покорность, ленивый ум и страх — этого вполне достаточно, чтобы сделать из человека духовного раба. Хотели вы или не хотели, а создавали духовно убогих людей, моральных уродов по нашему времени».

Этим сказано все. И седенький старичок, играющий металлическим портсигаром с изображением кремлевской башни на крышке, — действительно враг Парасковье Петровне. Ее врагом не может не быть тот, кто насаждает психологию терпения, рабской покорности, бессилия и приниженности. —

Вот к каким сложным общественно-психологическим вопросам подведет нас история маленького Родьки, вот какими, быть может, неожиданными, на первое впечатление, сторонами повертывается она перед читателями.

Впрочем, и в самом деле поначалу несколько неожиданными. Большой — и главный — смысл повести раскрывается перед читателем преимущественно в спорах Парасковьи Петровны с отцом Дмитрием, в разговоре ее с заведующим отделом пропаганды и агитации райкома партии Кучиным (об этом дальше). Само по себе, это не вызывает, конечно, возражений. Когда разговоры героев проясняют и подчеркивают внутренний смысл характеров и сюжетных ситуаций, это лишь усиливает впе-

чатление. Но есть тут, видимо, какой-то неуловимый предел, который должен остро чувствовать художник и за который нельзя перейти. Впечатление дробится и ослабевает, когда сюжет начинает в чем-то «недодавать» то, до осознания чего доходят сами герои в своих размышлениях и разговорах.

Такое несоответствие есть, к сожалению, в «Чудотворной». Споры Парасковьи Петровны с отцом Дмитрием слишком явно введены автором для того, чтобы прояснить тот большой общественный смысл, который имеет история Родьки. Заметим попутно, что, может быть, именно поэтому Парасковья Петровна меньше удалась писателю. В отличие от других персонажей, в нее не сразу, чувством, веришь как в живое лицо.

История Родьки, при всей ее значительности и образности, не раскрывает еще всего того, что выносит читатель из разговоров Парасковьи Петровны с отцом Дмитрием и Кучиным. Она дает предпосылки к этим разговорам, но именно предпосылки, подготовку той значительности темы, которая выявляется к концу повести. Это и понятно — события сюжета развертываются перед нами как бы через призму мальчишеского восприятия, глазами Родьки. В этом есть своя прелесть, и большая, но в то же время глаза двенадцатилетнего мальчика не могут, конечно, заметить все то, что доступно взору Парасковьи Петровны. В результате возникает некоторая дисгармония, сюжетная неслаженность: автор как бы теряет в конце интерес к истории Родьки и на первый план выдвигает идейные «теоретические» споры взрослых героев повести.

Эта неслаженность, вероятно, исчезла бы, если бы образы взрослых, окружающих Родьку, были разработаны глубже и детальнее.

Это относится и к Парасковье Петровне и в первую очередь, конечно, к Варваре, матери Родьки. Образ этой женщины, отупевшей от постоянного страха перед жизнью, перед богом, — один из самых важных в повести. Он-то как раз и есть то главное звено, которое связывает историю Родьки с размышлениями Парасковьи Петровны.

Одна сцена в особенности поражает своей невыдуманной правдой, глубиной настоящей человеческой трагедии. Парасковья Петровна пытается убедить Варва-

ру, что она губит сына, закрывает перед ним широкую дорогу в жизнь. И Варвара, чинно положив руки на чисто выскобленный стол, уставившись в крупные пуговицы на вязаной кофте Парасковьи Петровны, слушает ее, не возражает. Но в желтых, широко расставленных глазах, в туго натянутой на плоской переносице коже, во вздернутом коротком носе чувствуется такая безнадежная тупость, что Парасковья Петровна понимает — разговор бесполезен. Каждое слово, сколько ни вкладывай в него души, отскакивает, не зажигает мысли в неподвижных глазах — в них один только страх, одна тревога. Неповоротливая, медлительная, тупая логика страха: «Я вот сама неверующей была и... наказана. Муж бросил. Легко ли подумать, с двадцати пяти годов живу бобылкой не бобылкой, а вроде этого. Вдруг да за грехи парню моему тоже неподходящая доля выпадет? Как подумаю об этом, сердце кровью обливается. Вот вы бога, Петровна, не признаете, а ведь кто знает... Может, слышит нас...» И только материнская боль за сына, вконец изведенного всей этой историей, выводит наконец Варвару к проблескам сознания и первым шагам самостоятельной, без упования на бога, жизни. Поистине страшная сцена, жуткий образ!

И все же не до конца он понятен нам: война, житейский страх перед завтрашним днем, потеря мужа — все это, рассказанное очень сжато, еще не дает образного, яркого представления о всей совокупности жизненных обстоятельств, толкнувших Варвару искать спасения у бога. Да и не все они, естественно, при такой краткой характеристике названы.

Впрочем, мы хорошо понимаем сложность темы и трудности ее разработки, поэтому, посетовав на эти, с нашей точки зрения, недоделки повести, скажем писателю спасибо и за то, что уже им сделано. А сделано, видит читатель, так много, что пищи для размышлений об очень важных сторонах нашей жизни здесь более чем достаточно. Тендряков снова дал нам пусть не до конца безупречное, но по-настоящему значительное художественное произведение, захватывающее нас своей глубиной, правдивостью и оптимизмом.

Да, оптимизмом — и в этом, пожалуй, одно из главных достоинств драматичной, а иногда доходящей и до трагического накала повести. Этот оптимизм звучит не только и даже не столько в том разговоре

Парасковьи Петровны с Кучиным, который происходит в конце повести.

Парасковья Петровна пришла поговорить в райком партии не из-за одной только истории с Родей Гуляевым. «Если б дело было только в одном Роде! Своего ученика она сама как-нибудь оберегла бы, обуздала бы родителей. Но за последнее время все чаще всплывают глухие случаи. В прошлом году в деревне Пятидымке открылся родничок со «святой водой». Зимой комсомолка Фрося Костылева уехала из Гумнищ в соседний район Ухтомы и там венчалась в церкви. Это дело не обсуждали по той причине, что Фрося «снялась с учета». А крещение детей, а пьяные престольные праздники!.. Надо в конце концов всерьез поговорить в райкоме».

Разговор, однако, никак не может начаться. В районе сев, и Кучину то и дело приходится отвечать на телефонные звонки — где горючее, которое послали три дня назад, почему трактор на вырубку не бросили, куда надо обращаться за льносеменами и т. д. Наконец выдается свободная минутка, и Парасковья Петровна объясняет, зачем она пришла.

«— Э! — с досадой крикнул Кучин, выслушав Парасковью Петровну. — Мало забот у Настасьи, так новые напасти!.. Хотите верьте, хотите нет, нам обычный доклад по международному положению сделать некогда, все время съедают горючее для тракторов, овес для лошадей, забота вплоть до божьего солнышка». Он понимает всю важность и сложность дела, но ведь не чудотворец же он! «Тысячу лет на Руси людям вдалбливали сказки о боге. Тысячу лет! А вы пришли и требуете: нука, товарищ Кучин, партийный просветитель, пошевели мозгами, найди волшебный способ, чтоб вся тысячелетняя муть о царствии небесном в два счета выветрилась из голов верующих, чтоб стали они чистыми, как стеклышко!» И Кучин прав, когда он говорит, что старые приемчики борьбы — схватить попа за бороду да вытряхнуть его из храма — сейчас не годятся. «Теперь мы идем в наступление на религию не любовой атакой, а медленным, постепенным натиском... Нужно добиться, чтоб самая последняя старуха верила не всевышнему, а нам. Для этого мы должны доказать, на что мы способны. Доказать на деле. Сначала кусок мяса в шах, добротная одежда к зиме, затем радиоприемник, электричество, книги, кинокартины. Вот наши до-

казательства, и против них не устоит господь бог. Во многих местах он уже спасовал. Поищите-ка верующих в колхозе Гриднева! Может быть, какая-нибудь древняя бабка молится в своем углу втихомолку. Исчезли у них пьяные престольные праздники. Отчего? Да оттого, что в председателе колхоза Гриднева больше веряг, чем в благодать с неба... Вся беда, что Гридневых у нас в районе не густо».

«— Приятные речи приятно и слушать», — соглашается Парасковья Петровна. И в самом деле, Кучин, конечно, прав. Иной раз во время этой сцены кажется, правда, что правильные слова о постепенном натиске несколько облегчают совесть Кучина и потому, в частности, что сам он, видимо, за текучкой хозяйственных дел не очень-то много внимания уделяет непосредственно идеологической работе. Думаешь иной раз, что, может, отец Дмитрий был и прав, когда он утверждал, что разрешение на открытие храма Николы-на-Мостах было бы легче получить, если бы храм не пустовал, а был занят под склад или зернохранилище. «Почему? — удивилась Парасковья Петровна. — Мне представляется совсем наоборот. Раз бывшая церковь занята, ее труднее освободить».

— О нет, тут есть свои выгоды! Мы бы пошли на условие — строим зернохранилище, разумеется вместительное, удобное и добротное, а храм попросим разрешения использовать для нужд верующих».

Можно поспорить и относительно некоторых формулировок. Хорошо, конечно, когда люди верят больше в председателя колхоза, чем в бога. Но лучше ставить перед собой другую задачу: чтобы люди не заменяли бога председателем колхоза, а боль-

ше верили в себя, в свои силы, чтобы они чувствовали и убеждались повседневно — это их руки и головы создают жизнь, это от них прежде всего все зависит, и это они хозяева колхоза и своей судьбы. Тогда и пропадет необходимость верить в какого-либо бога, тогда и с религией быстрее будет кончено.

Но это, конечно, детали. В главном Кучин прав, а оптимизм его — реалистический оптимизм.

И все же, как мы сказали, оптимистическое обаяние этой повести не только и не столько в этой сцене. Слова Кучина — это оптимизм общей перспективы нашей жизни, которую мы хорошо представляем и без него. А светлое чувство, которое оставляет повесть, — чувство, которое вызывается, конечно, не общими словами, пусть даже самыми правильными, а прелестью образов, — это чувство связано с Родькой. Чистая и ясная душа этого обыкновенного деревенского парнишки, весь строй его мальчишеской психики, прямо противоположный тому, что пытаются ему навязать мать и бабка, — вот самый прекрасный залог того, что вера в господа бога никогда не сможет ужиться с нашей правдой. Никогда мы не примиримся с проповедью страха перед всевышним и слепой верой в него, хотя бы это и сочеталось с разрешением на частную самостоятельность, — строить заводы, пахать землю, рожать детей. Поэтому и сама трагедия Родьки, его внутренний спор с самим собой — это тоже, прибегая к известной формуле, оптимистическая трагедия. Трагический характер этого спора лучше всего говорит о том, что психология нашего времени и психология рабской приниженности — вещи несовместимые.

